

Николай Добролюбов

История русской словесности



Николай Александрович Добролюбов

История русской словесности

«История русской словесности» С. П. Шевырева (в ее основу положены публичные лекции, прочитанные автором в Московском университете в 1844–1845 гг.), третью часть которой разбирает Добролюбов, представляет собою очень сложное, противоречивое явление в истории русской литературной науки. Это был первый историко-литературный курс русской словесности, богатый фактическим содержанием, и значение его в том, что он открывал новую научную дисциплину. Однако достоинства «Истории русской словесности» были ослаблены религиозной и монархической тенденциозностью автора. Именно эта сторона определила резко непримиримую позицию Добролюбова. Критик строит свою статью в виде коллекции анекдотических промахов Шевырева, иногда чрезмерно увлекавшегося непроверенными, шаткими гипотезами, а порою и просто подгонявшего факты под готовую концепцию.

Содержание

#1	0005
Примечания	0028

**Николай Александрович
Добролюбов
История русской
словесности**

*Лекции Степана Шевырева, ординарного
академика и профессора. Часть III.
Столетия XIII, XIV и начало XV.
Москва, 1858*

Деятельность г. Шевырева представляет какой-то вечный промах, чрезвычайно забавный, но в то же время не лишенный прискорбного значения. Как-таки ни разу не попасть в цель, вечно делать все мимо, и в великом и в малом! Мы помним, что в начале своей литературной карьеры г. Шевырев отличился статьею: «Словесность и торговля», – в которой старался доказать, как позорно для писателя брать деньги за свои сочинения; статейка эта явилась именно в то время, когда литературный труд начинал у нас получать право гражданства между другими категориями труда.[1] – Пустился г. Шевырев в критику – и произвел в поэты мысли г. Бенедиктова,[2] который тем именно и отличается, что поэзия и мысль у него всегда в разладе. – Увлёкся он библиографией, и сочинил, что стихи Пушкина:

*Бранной забавы
Любить нельзя —*

надобно читать:

*Бранной забавы
Любит не я...[3]*

Мистицизмом занялся он, и провозгласил однажды «чудное и знаменательное совпадение событий в том, что Карамзин родился в год смерти Ломоносова»;^[4] вдруг оказалось, что Карамзин вовсе не родился в год смерти Ломоносова! – В живописи стал искать себе отрады г. Шевырев, и пришел в восторг от Рафаэлевых картонов, найденных им в Москве; но на поверку вышло, что лухмановские картоны, приведшие его в восхищение, никак не могут быть приписаны Рафаэлю.^[5] – Фельетонистом однажды сделался почтенный ученый, и принялся рассказывать, как Москва угощала брагой защитников Севастополя;^[6] в действительности оказалось, что брагой их никогда не угощали. – Захотел он в одном из своих сочинений представить портрет Батюшкова; но в то время, как г. Шевырев принялся рисовать, Батюшков обернулся к нему спиною, и в книге злополучного профессора оказался рисунок, изображающий Батюшкова – с затылка!..^[7] – В стихотворство пустился ординарный академик и профессор; но и тут дело кончилось неудачно: известно, как промахнулся он недавно с своим приветствием

Белевской библиотеке, которое не могло появиться в самый день, вследствие невеликодушия редактора «Московских ведомостей».[8] Словом, что ни делал г. Шевырев, производил ли слово *зефир* от *севера*,[9] изъяснял ли желание взобраться на Александровскую колонну,[10] толковал ли о великом значении Жуковского[11] или об отношении семейного воспитания к государственному,[12] вступал ли в русскую горячую беседу,[13] – везде его поражали тяжкие удары, везде его деятельность ознаменовывалась самыми несчастными промахами.

Так случилось и с лекциями г. Шевырева о русской словесности. На первых книжках его курса было прибавлено: история словесности, «преимущественно древней», [14] – и это подало повод одному писателю справедливо заметить: то есть *преимущественно того времени, когда ничего не писали*. [15] Замечание это оправдано г. Шевыревым вполне – как в первых двух книжках его лекций, так и в третьей, ныне изданной. На каждой странице очевидно, что почтенный профессор сильно

промахнулся в самом выборе предмета. Не менее ловкие промахи умел он сделать и в обработке его. Так, говоря о языке русском, он выразил вражду к германской филологии, по следам которой считал постыдным *влачиться*; между тем именно с этого времени германская филология и принялась у нас, благодаря преимущественно трудам г. Буслаева. [16] Говоря о словесности, г. Шевырев старался во всем видеть чудеса и, в своем мистически-московском патриотизме, старался превозносить древнюю Русь выше облака ходячего; а именно в это время, более чем когда-нибудь прежде, пробуждалась склонность к беспристрастному и строгому пересмотру деяний древней Руси. Труды гг. Соловьева, Кавелина, Калачова, потом Буслаева, Забелина, Чичерина, Пыпина и др. указали нам правильную историческую точку зрения на наш допетровский период и на его литературу. А г. Шевырев и теперь опять является с теми же высокомерными возгласами о величии русскою смирения, терпения и пр., да еще при этом осмеливается уверять, будто со времени издания его книги (в 1846 году) «*по его следам*

(по следам г. Степана Шевырева, ординарного академика и профессора!!) *вели науку далее* (далее?) *другие ученые* (каково наивное признание в собственной учености!) *и трудились* *молодое поколение*, которое скоро и представило отличных деятелей по тому же предмету. Некоторые *из них* (из отличных-то деятелей? полноте!) мне лично выражали *признательность* свою за *то, что начали изучать* русскую словесность древнего периода по моей книге. Желая душевно, чтобы и вновь выходящая книга принесла *такой же плод, какой принесен был двумя первыми*» (!!!) (стр. V, предисловие).

Такие бесцеремонные претензии г. Шевырева опять составляют весьма жалкий промах в наше время, когда забавное значение почтенного профессора так ясно уже для молодых исследователей.[17] Не менее жалок нам историк русской словесности и в другом своем промахе, относящемся к суждению о нем других журналов. По его словам, все петербургские журналы при первом появлении его книги в 1846 году осудили его потому, что он «поставил себя в «Московском наблюдате-

ле» и в «Москвитянин» во враждебное отношение к тем журналам».[18] Такое объяснение можно отнести, конечно, опять к той же, вечно преследующей г. Шевырева, опрометчивости. Но, вообще говоря, подобные объяснения наводят нас на мысль о той степени нравственного унижения, на которой находился известный герой, любивший рассказывать, как он «пострадал по службе за правду».[19] Мы убеждены, что сознательно заподозрить гласным образом чужую честность, не представив никаких доказательств на свои подозрения, – может только человек, не имеющий достаточно уверенности в своем собственном благородстве и добросовестности.

К сожалению, новая книжка г. Шевырева представляет обильные доказательства на то, что он еще доселе не умеет возвыситься до понимания того, что человек может действовать по убеждению, что мысль, сознание правды может быть таким же двигателем человеческих поступков, как и всякие другие самые практические расчеты. Например, что может быть проще того факта, что я спорю против мнения, несогласного с моим, что я

осуждаю направление, которое считаю ложным? Г-н Шевырев этого не понимает; по его мнению, когда я не хочу согласиться с ним, что черное – бело, то я непременно имею тут какие-нибудь особенные виды. Вследствие таких понятий он начинает меня убеждать: для чего вам хочется доказать, что черное – черно? какая вам будет беда, ежели я успею кого-нибудь уверить, что оно не черно, а бело? разве мало других цветов, определением которых вы можете заняться? и пр. Невероятно, чтоб ученый профессор мог иметь такие понятия; но что же делать? – он их действительно имеет... Вот его слова: «Поле нашей науки так обширно, что нуждается во множестве деятелей: если бы было их вдесятеро более против наличного числа, на всех бы доставало работы. Из чего же мы спорим? что мы делим? из чего мешаем друг другу?» (пред., стр. X). Видите, какие соображения: если Белинский критиковал г. Шевырева, если гг. Буслав, Забелин и пр. восставали против его мнений, так это делали они *из боязни, чтобы он не отбил у них работу, из торговой конкуренции!!* И после таких заявлений г. Шевырев

осмеливается еще толковать в том же предисловии о бескорыстной любви к науке!!

В дополнение представленных уже данных относительно личного характера г. Шевырева как писателя укажем следующие факты. На стр. XXII предисловия он приходит в восхищение от «Истории русской цивилизации» г. Жеребцова,[20] говоря, что она *«проливает новый свет пред всем просвещенным* (каламбур ученого!) *Западом на прошедшие, настоящие и будущие судьбы нашего отечества»*; а несколько строк ниже говорится, что г. Жеребцов многое взял из «Истории словесности» г. Шевырева *«а главное – из нее заимствовал основное свое воззрение на христианское просвещение древней Руси»*. Итак, свет г. Жеребцова – заимствованный, то есть, говоря метафорически, – г. Жеребцов есть в некотором роде *луна* просвещенного Запада, а *солнце-то* его есть г. Шевырев. Гм!..

На стр. XXIII предисловия г. Шевырев считает нужным *оправдаться* пред публикой – не в том, что решается снова выступить с продолжением своих лекций (как следовало бы ожидать), а в том, что это продолжение *так*

замедлилось. В оправдание он приводит разные труды свои «на пользу университета, младших товарищей по науке и студентов» и, кроме того, намекает еще на какие-то «душевные скорби, борьбу с судьбою, великое и трудное дело жизни», в которые он должен отдать отчет только богу. Наконец, в извинение себе ставит автор и то, что «работает без предшественников в этом деле, которые могли бы облегчить ему построение целого и разработку подробностей». Между тем по самым примечаниям в книге г. Шевырева видно, что он весьма много пользовался исследованиями преосвященных Макария, Филарета, профессора Горского[21] и др. Кроме того, нельзя не заметить, что большая часть книжки г. Шевырева состоит из красноречивого пересказа житий святых русских; жития же эти давно уже обработаны не менее красноречивым пером А. Н. Муравьева, того самого, который у г. Жеребцова отличен наименованием *шамбеляна*. [22] Соображая все это, необходимо приходишь к мысли, что отзыв г. Шевырева – просто неблагодарность к его предшественникам.

Характер общих понятий г. Шевырева, неизлечимо-мистический, виден также из примеров, подобных следующим. Говоря о железных дорогах и телеграфах, он признает их пользу вот по каким основаниям: «В этих явлениях чувствует и сознает человек осязательным образом свое духовное назначение и предвкушает, *так сказать*, на земле то совершенное уничтожение времени и пространства, которое ожидает его в будущей жизни» (стр. XXVIII). Это, *так сказать*, ординарный академик и профессор поэтизирует...

В другом месте (стр. XX) г. Шевырев доказывает, что знания и промышленность процветали в древней Руси ибо в ней был «искусный и опытный кормщик Антип Тимофеев». Seriously... Вот слова ученого мистика: «Как же из древней Руси, при отсутствии всякой промышленности, всякого знания, объяснить *искусного и опытного кормщика* Антипа Тимофеева, которому мы, в рогах Унской Губы, обязаны спасением жизни Петра?» Как же это объяснить, в самом деле? Мы думаем, что материал для объяснения могут г. Шевыреву доставить в этом случае описания путешествий

к различным диким островитянам.

Внося мистицизм во все явления действительной жизни, даже самые уродливые, г. Шевырев доходит до того, что не стыдится давать следующее объяснение кликушам:

Мы все знаем, с каким благоговением русский человек преклоняет свою голову перед наглым евангельским и внемлет понятному громогласному слову благовестия; мы знаем, с каким внутренним трепетом он сретаает, во время литургии, песнь ежехерувимскую, и как глубоко чувствует свое недостойнство, когда священник, приступая к св. причащению, из алтаря возглашает миру: святая святым! В эти три мгновения божественной литургии каким-то особенным трепетом бьется сердце благочестивого русского. Здесь надобно искать первого объяснения тому психологическому явлению, которое известно в нашем простом народе между женщинами под именем кликуш! (стр. 108, примеч. 6).

Признаемся – если б этот пассаж был написан не г. Шевыревым, которого благочестие

не подвержено сомнению, а кем-либо другим, то мы приняли бы его за самую неприличную насмешку...

Впрочем, довольно об общих понятиях г. Шевырева; обратимся к его лекциям об истории русской словесности XIII, XIV и XV столетий.

Прежде всего нужно предупредить читателей, что об истории словесности почти вовсе нет речи в книжке г. Шевырева. Вы найдете в его пяти лекциях (XI–XV) и подробный рассказ о татарском нашествии, и биографии благочестивых и мужественных князей, и жития русских пастырей и отшельников, и заметки о церковных колоколах, живописи, архитектуре, местоположении Кирилло-Белозерского монастыря, о чудесах, совершавшихся в древней России; но истории словесности не найдете. Да оно и естественно, разумеется; потому что – какая же тогда была словесность? Только зачем г. Шевырев мистифицирует читателей названием своей книги? Писать можно о чем и что угодно; но надо же по крайней мере иметь некоторое понятие хотя о том, к какой области знаний относится предмет, о

котором пишешь. Не все, что было в древней Руси, можно назвать историею древней русской словесности. Г-н Афанасьев написал, например, несколько статей о зооморфических божествах славянских, г. Егунов – о торговле древней Руси, г. Забелин – о металлическом производстве в древней России;[23] – но не сказали же они, что их труды составляют историю словесности. Да не говоря уже о них, сам, уважаемый г. Шевыревым и известный пылкостью своего ученого воображения, г. Беляев не назвал историею словесности свои игристые исследования – хотя, например, о Руси до Рюрика и о Руси в первое столетие после Рюрика.[24] Не следовало и г. Шевыреву называть историею словесности своих извлечений из «Истории государства Российского» Карамзина и из «Житий русских святых», изданных г. шамбеляном Муравьевым.

В доказательство того, что мы вовсе не клеветаем на г. Шевырева, приводим его собственную характеристику двух столетий, словесность которых составляет предмет его лекций. О XIII веке он говорит: «Скудно число писателей, относящихся к XIII веку; еще скуднее

число памятников, от них оставшихся» (стр. 30). «Внезапное бесплодие, поражающее нас в XIII веке, можно было бы сравнить с впечатлением пустыни, встречавшей в те времена странников наших на их пути из населенной России к полудню, к татарским кочевьям» (стр. 17). А между тем тринадцатому столетию посвящено в книге г. Шевырева сто страниц. Чем же они наполнены? Да так – кое-чем. Вслед за признанием литературного бесплодия XIII века говорится, что бесплодие происходило от татарского нашествия, и рассказывается подробно о нашествии Батыея, потом говорится о доблестях Александра Невского, Михаила Черниговского, Владимира Волынского и других *героев отечества*, вроде Меркурия Смоленского, Романа Углицкого, Петра и Февронии и других личностей, никогда и не думавших попасть в литературу.[25] И описываются они не мимоходом, не вкратце, а со всеми возможными амплификациями, какие только может внушить искусство Квинтилиана.[26] Вот, например, *малая толика* из рассказа о Владимире Волынском, находящегося в «Истории русской словесности»:

Высокий рост, сильные плечи, прекрасное лицо, русые кудрявые волосы, борода остриженная, стройные руки и ноги, исподняя часть рта полная и голос громкий – составляли признаки его наружности. Он был искусный ловец, храбр, кроток, смирен, незлобив и пр. и пр. (множество качеств и действий, из которых к словесности относится только то, что он переписал своей рукою несколько книг)... За четыре года до смерти у него начала гнить исподняя часть рта, с каждым годом все более и более. Сначала эта болезнь не мешала ему ходить и ездить на коне; он раздавал все имение свое нищим. Потом, на четвертый год, спало у него все мясо с бороды, выгнили нижние зубы, кость бородная перегнила, обнаружилась внутренность гортани; в течение семи недель он не питался ничем, кроме воды, и то скудно, – и наконец скончался после тяжких страданий в 1288 году, 10 декабря, в городе Любомле (стр. 25–26).

Надобно прибавить только одно: что Владимир этот ничего не писал и не был предметом никакого отдельного сказания, – и чита-

тели вполне оценят уместность в истории словесности любопытных страданий этого князя...

Таким способом и наполняет почтенный профессор свою книжку. Во всей одиннадцатой его лекции, излагающей на ста страницах историю словесности XIII века, к словесности собственно относятся только немногие страницы о Симоне и Поликарпе, да о «Словах» Серапиона.[27] Но и эти страницы весьма поверхностны и состоят почти из одного только пересказа содержания памятников. Кроме того, г. Шевырев распространяется – об Авраамии Смоленском,[28] который тоже ничего не писал, но которому *можно приписать* «Слово о небесных силах и исходе души», *потому что* Авраамий, по свидетельству жития его, написал две иконы – Страшного суда и воздушных мытарств – и любил о том говорить!.. (стр. 89). Распространяется г. Шевырев и о разных Кириллах, из которых одному может быть приписано то самое «Слово», которое может быть приписано и Авраамии; о другом предполагают, что он писал что-нибудь, но предположения эти, по сознанию самого г. Шевырева,

требуют еще ученого исследования; а третий – если и ничего не писал, то замечателен тем, что *к нему писал* Герман, патриарх Царегородский, о непосвящении рабов в духовный сан (стр. 30–33).[29]

Так наполнено XIII столетие. О XIV веке ученый профессор говорит, что представителями его (в русской словесности) являются – преподобный Сергей, митрополиты Алексей и Киприан и Стефан Пермский, но, что еще лучше, век этот «можно назвать по преимуществу веком св. Сергия» (стр. 106, 313).[30] И целую 12-ю лекцию (60 страниц) г. Шевырев говорит о Сергии, Алексии и Стефане. В результате лекции оказывается, что Алексей почти ничего не писал, а от Сергия и Стефана решительно ничего не осталось. Столь странный результат изумляет самого г. Шевырева, как будто почувствовавшего, что он совершенно попусту сочиняет свою лекцию. «Станным с первого раза покажется, – говорит он, – что из двух первенствующих деятелей в духовной жизни нашей XIV века (Сергий и Алексей) один не оставил ничего письменного, а другой мало по объему» (стр. 138).

Но, впрочем, ученый наш не смущается; он тотчас нашелся в своем затруднительном положении. «Ясно, говорит, что оба действовали, по обычаю древних русских людей, изустным словом». Это, говорит, у нас нередко бывало. Так, например... и начинает распространяться о *книжном иноке* Павле Высоком. «А между тем от Павла Высокого нам, говорит, ничего не осталось» (стр. 139). Стало быть, и от других нечего требовать!..

Утешив себя примером Павла Высокого, почтенный академик оканчивает свою лекцию уже совершенно спокойно. Рассказавши на десяти страницах о Стефане Пермском, он уже весьма храбро и без обиняков спрашивает и отвечает: «Осталось ли нам что-нибудь от словесно-духовной деятельности Стефана Пермского на славянском языке? – Решительно ничего. – Дошли ли до нас памятники зырянской письменности трудов Стефана Пермского? – Ни одного» (стр. 149–150). После этого становятся уже совершенно ясны права Стефана на место в истории русской словесности.

В XIII лекции – самой коротенькой – посвя-

щено страниц пятнадцать митрополиту Киприану и страниц двадцать – красноречиво-му описанию пустынножительских обитателей. Мистицизм ученого профессора находит себе здесь полный простор в мечтаниях о том, как на берегах Шексны «склоны неба, простираясь кругом, кажется, с любовью захватывают все дива благословенной земли» (стр. 199). Впрочем, если мечтательного автора и можно упрекнуть в недостатке научной точности и простоты, то нельзя в то же время и не похвалить его за теплоту чувства, с которой рассказывает он о чудесах, бывших в обителях. Вот, например, назидательный рассказ о Кирилле Белозерском:

Чудесно обнаружилось призвание Кириллу. Раз, по обычаю, читал он ночью акафист божией матери; мысль его остановилась на словах: «Странное рождество видевшие, устранимся мира», – и сильно загорелась в нем давняя молитва. Вдруг слышит он голос: «Иди на Белоозеро! там место твоего спасения», – и внезапно горный свет озарил его келью. Он отворил окно – свет изливался от стран полунощных,

где открывалось Белоозеро, а голос звал и манил его туда. Эта ночь была ему светлее дня. Она исполнила его радости и дала ему силу решиться на подвиг (стр. 198).

Четырнадцатая и пятнадцатая лекции более касаются словесности, чем предыдущие; но и они не обошлись без пространного изложения предметов, которые могли бы вовсе не входить в историю словесности. Так, несколько страниц здесь занято сладкими рассуждениями о зодчестве, литейном искусстве, о дверях и колоколах в древней Руси; слишком уже красноречиво описана жизнь Фотия, много приводится лишних подробностей о разных событиях, по поводу которых написано было то или другое сочинение, и пр., двадцать страниц посвящено *изложению* безобразного «Сказания о Мамаевом побоище».[31] В этом изложении попадаются, между прочим, такие мысли: «Нельзя не пожалеть, что этот зародыш поэмы остался у нас дичком и не одушевил ни одного поэта в художественном периоде нашей России. Древняя Русь, в своем смирении, не тщеславилась своими по-

двигами, а все отдавала богу. Новая Россия, увлеченная другими стремлениями (?), полюбила славу. Ее бы дело было воздать славою тем, которые не о славе, а о благе думали: *но не туда устремила она очи. Подождем далее*» (стр. 273). Подождите, г. Шевырев!..

В вознаграждение за длинноту изложения «Сказания», г. Шевырев едва уделяет несколько страничек народным песням татарской эпохи. Не стоит говорить о его эксцентрических тенденциях[32] и обо всем его поверхностном очерке; но можно заметить еще один забавный промах его. Алешу Поповича он принимает за олицетворение русского, христианского героя в борьбе с татарскою, бурсманскою силою Тугарина Змеевича (стр. 298).[33] Между тем Алеша во всех народных песнях является с характером плутовства, трусости и обмана; это просто – противопоставление тонкой хитрости грубой телесной силе. Хорошего же героя выбрал г. Шевырев для борьбы с нехристью!..

В заключении своей книги г. Шевырев удивляется *единству* и *высоте* мысли, выработанной древнею Русью. *Единство* видит он

В том, что все тогда сочиняли на один лад, не пускаясь в пагубное разнообразие – не только мнений, но и самых предметов. *Высота* же мысли древнерусской доказывается, по г. Шевыреву, тем, что и ныне писатели, следующие тем же путем, как древние наши книжники, сходятся с ними в мыслях.[34] Отсюда г. Шевырев заключает, что истина древней Руси – вечна, а «для вечной истины нет различия между XIX и XV веком; меняются формы ее выражения, она же пребывает одна» (стр. 376). Все это прекрасно и нимало не удивило нас: мы давно знали, что г. Шевырев проповедывал печатно что-то вроде того, что философия Гегеля заимствована из «Поучения» Владимира Мономаха.[35] Но отчего же г. ординарный академик и профессор не хочет до сих пор обратить свое просвещенное внимание на одно возражение, которое давно и несколько раз уже ему предлагали, именно: что успокоение на *неизменной истине*, отысканной им в древней Руси, – ведет к самому унылому застою и смерти?.. Ведь теперь уже все видят и знают, что *единая и высокая истина* г. Шевырева, вечно присущая древней Ру-

си, – совершенно чужда всем жизненным интересам новой России и может примиряться с ними только разве в мистических теориях опрометчивого профессора. В жизни она может повести теперь только к жалким самоистязаниям, вроде тех, которых жертвою сделался Гоголь; в литературе она губит самобытные таланты, как мы видели пример на том же Гоголе, – и производит затхлые, гнилые, трупобразные явления, подобные «Опыту истории русской цивилизации»[36] и «Истории русской словесности, преимущественно древней».

Примечания

Условные сокращения

Все ссылки на произведения Н. А. Добролюбова даются по изд.: Добролюбов Н. А. Собр. соч. в 9-ти томах. М. – Л., Гослитиздат, 1961–1964, с указанием тома – римской цифрой, страницы – арабской.

Белинский – Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. I–XIII. М., Изд-во АН СССР, 1953–1959.

БДЧ – «Библиотека для чтения»

ГИХЛ – Добролюбов Н. А. Полн. собр. соч., т. I–VI. М., ГИХЛ, 1934–1941.

Изд. 1862 г. – Добролюбов Н. А. Сочинения (под ред. Н. Г. Чернышевского), т. I–IV. СПб., 1862.

ЛН – «Литературное наследство»

Материалы – Материалы для биографии Н. А. Добролюбова, собранные в 1861–1862 гг. (Н. Г. Чернышевским), т. 1. М., 1890 (т. 2 не вышел).

ОЗ – «Отечественные записки»

РБ – «Русская беседа»

РВ – «Русский вестник»

Совр. – «Современник»

Чернышевский – Чернышевский Н. Г.
Полн. собр. соч. в 15-ти томах. М., Гослитиздат, 1939–1953.

Впервые – *Совр.*, 1859, № 2, отд. III, с. 249–258, без подписи.

Статью Добролюбова следует оценивать в ряду других его выступлений против «официальной народности» и ее апологетов (см. в наст. т. статьи «Утро. Литературный сборник», «Очерки и рассказы И. Т. Кокорева»). В ней Добролюбов включился в борьбу с реакционными тенденциями в критической и научной деятельности С. П. Шевырева, начатую еще Белинским в статьях «О критике и литературных мнениях «Московского наблюдателя» (1836), «Педант» (1842) и др. и продолженную А. И. Герценом в статье «Ум хорошо, а два лучше» (1843) и Н. Г. Чернышевским в «Очерках гоголевского периода» (1856).

«История русской словесности» С. П. Шевырева (в ее основу положены публичные лекции, прочитанные автором в Московском университете в 1844–1845 гг.), третью часть

которой разбирает Добролюбов, представляет собою очень сложное, противоречивое явление в истории русской литературной науки. Это был первый историко-литературный курс русской словесности, богатый фактическим содержанием, и значение его в том, что он открывал новую научную дисциплину (см. подробнее: Возникновение русской науки о литературе. М., 1975, с. 323–331). Шевырев пытался применить в этой малоизученной сфере «методу историческую», предложенную им в «Истории поэзии» (1835), высоко оцененной Пушкиным. Однако достоинства «Истории русской словесности» были ослаблены религиозной и монархической тенденциозностью автора. Именно эта сторона определила резко непримиримую позицию Добролюбова. Критик строит свою статью в виде коллекции анекдотических промахов Шевырева, иногда чрезмерно увлекавшегося непроверенными, шаткими гипотезами, а порою и просто подгонявшего факты под готовую концепцию. Этот недостаток был подвергнут серьезной критике еще в рецензиях (анонимных) Ф. И. Буслаева и А. Д. Галахова на первую часть

«Истории русской словесности» (ОЗ, 1846, № 5) и А. Д. Галахова – на вторую (ОЗ, 1846, № 12). Н. Г. Чернышевский позднее писал об этих двух частях: «Хорошую сторону составляет то, что факты... собраны довольно полно; слабая сторона – то, что они переплетены с гипотезами и мечтами» (Чернышевский, III, 90).

В некоторых моментах статья Добролюбова близка также к критическому разбору третьей части «Истории русской словесности» в «Отечественных записках» (1859, № 1). Автор его Ск. Ч *** (псевдоним А. А. Котляревского) отметил основной недостаток исследования – смешение истории словесности с теологией (об этом же писали и другие рецензенты – Н. П. Некрасов в «Атенее», 1859, № 1, и В. Водовозов в «Русском слове», 1859, № 4).

Критика Добролюбова, при всей идейной прогрессивности ее, не свободна от полемических излишеств и ошибок, особенно в отношении к древнерусской литературе. Интерпретация этой последней как исключительно религиозной и княжеской (у Шевырева – со знаком плюс, у Добролюбова – со знаком минус) была главной методологической сла-

бостью, свойственной вообще историографии того времени. Так, Ф. И. Буслаев в то время резко отделял «религиозную» древнерусскую литературу от «народной словесности». Некритически воспринятая, эта концепция привела к недооценке древнерусской литературы в работах революционных демократов, в частности, и в данной статье Добролюбова. Так, например, критик очень пренебрежительно отзывается о крупнейшем памятнике древней словесности – «Сказании о Мамаевом побоище». Исходя из того факта, что о деятельности многих древнерусских писателей, просветителей (например, Стефана Пермского) известно лишь из свидетельств современников, летописцев, авторов «Житий» и т. п., Добролюбов повторяет не вполне справедливую реплику Герцена о древней русской словесности как о «времени, когда ничего не писали» (см. ниже примеч. 15).

Шевырев довольно болезненно реагировал на статью Добролюбова в письме к М. П. Погодину: «Читая «Современник», я более смеялся, чем досадовал... видно, что никто предметом не занимается и все – круглые невежды, наня-

тые... журналистами, чтобы разбранить книгу. Грустно не то, что меня бранят, но грустно... за состояние литературы русской!» (Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина, т. 16. СПб., 1902, с. 258).

Комментарии

Об этой статье, напечатанной в «Московском наблюдателе» (1835, март, кн. 1), Белинский писал: «В ней много справедливого, глубоко истинного и поразительно верного; но вывод ее решительно ложен» (Белинский, II, 127).

[^^^]

В статье «Стихотворения Владимира Бенедиктова» (Московский наблюдатель, 1835, август, кн. 1). Оспорил это суждение Шевырева Белинский в статье «О критике и литературных мнениях «Московского наблюдателя» (Белинский, II, 148–151).

[^^^]

Шевырев не «сочинил»: отстаиваемый им в статье «Сочинения Александра Пушкина» (Москвитянин, 1841, № 9, с. 251) вариант стихотворения «Заздравный кубок» был опубликован в альманахе «Памятник отечественных муз на 1827 год». Вариант «любить нельзя» появился в посмертном издании. В сохранившейся рукописи Пушкина:

*Бранной забавы
Мы не друзья.*

До Добролюбова против версии Шевырева выступил Чернышевский (Чернышевский, III, 108).

[^^^]

Этот промах Шевырева так описан Ф. И. Бу-
слаевым и А. Д. Галаховым: «Г. Иванчин-Писа-
рев в похвальном слове Карамзину сказал,
что Карамзин родился в 1765 году – в год
смерти Ломоносова. Г. Шевырев признал та-
кое совпадение событий чудным и увидел в
нем особенное знамение... Раза два замечает
он это не без удовольствия в «Москвитяине».
Теперь г. Погодин открыл, что Карамзин ро-
дился в 1706 году... Что же нам делать с объяс-
нением Шевырева?» (ОЗ, 1846, № 5, отд. V, с.
34)

[^^^]

Шевырев поспешил объявить принадлежавшие А. Д. Лухманову картоны (эскизы для ковров) произведениями Рафаэля или его учеников (статья «Рафаэлевские картоны, принадлежащие А. Д. Лухманову» – *МВвед*, 1851, № 44, 45), что было оспорено С. Г. Строгановым (там же, № 47); полемика продолжалась в последующих номерах.

[^^^]

Речь идет о стихотворении Шевырева, прочтенном им на обеде в честь севастопольских моряков (см.: Москвитянин, 1856, № 1, с. 47), где были такие слова:

*Расстилай же скатерть брану
Ты во все концы, Москва!
Наливай же брагу пьяну,
Осушай ковши до дна!*

Иронический отклик на это выступление Шевырева см.: СПбВед., 1856, № 62).

[^^^]

Ирония в данном случае вряд ли уместна. В книге «Поездка в Кирилло Белозерский монастырь» (ч. 1. М., 1850) Шевырев рассказал о посещении им летом 1847 г. поэта К. Н. Батюшкова, находившегося в состоянии умственного расстройствa. Портрет Батюшкова со спины был помещен между 112 и 113 страницами книги; Шевырев писал: «Приложенный рисунок дает верное понятие о росте и положении Батюшкова. Снять лицо было невозможно. Даже и за это, заметив приемы рисовальщика издали, поэт наградил его несколькими дикими взглядами! Такой портрет имеет, впрочем, хотя грустное, но верное значение» (с. 110). Рисунок был сделан Н. В. Бергом (в книге помещен также рассказ Берга, названного здесь лить инициалами Н. В. Б., об истории этого рисунка).

[^^^]

Шевырев напечатал свое стихотворение «Учредителям библиотеки в городе Белеве» вместе с примечанием, в котором объяснял, почему он не мог «подать отголосок из Москвы Белеву в таком прекрасном деле в самый день его совершения» (*СПбВед.*, 1858, № 284, 31 декабря). Еще раньше, в первом выпуске «Свистка» (*Совр.*, 1859, № 1), Добролюбов писал об этом в пародии «Проект протеста против «Московских ведомостей» (VII, 336–337).

[^^^]

В первой части своей книги, желая доказать факт влияния славян на древних греков, Шевырев писал: «Зефир у Гомера в «Илиаде», как известно, есть ветер северный: его имя может объясниться только нашим **севером**, по свойству русской буквы В переходить в греческую Ф и обратно» (История русской словесности, преимущественно древней, т. I, ч. 1. М., 1846, с. 60). Ф. И. Буслаев и А. Д. Галахов в своей рецензии иронизировали по этому поводу и совпадение слов объяснили «сродством языков индоевропейских» (ОЗ, 1846, № 5, отд. V, с. 18–19). Уже после выступления Добролюбова, во втором издании своей книги Шевырев сделал примечание к соответствующему месту: «Сближение зефира с севером подало повод журнальным забавникам к шуткам и глумлению; но им, кажется, нет дела ни до Гомера, ни до филологии» (История русской словесности, ч. 1. М., 1859, с. 115–110).

В статье «Взгляд на современное направление русской литературы» (Москвитянин, 1842, № 1, с. III отдельной пагинации) Шевырев писал: «Невольно взлетаете мыслию под сень этого небесного гостя (ангела на Александровской колонне. – В. В.) – и оттуда смотрите на чудо-город» и т. д. Еще до Добролюбова иронический комментарий к этому пассажиру дал Чернышевский (Чернышевский, III, 94).

[^^^]

Речь Шевырева, сказанная в торжественном заседании Московского университета, «О значении Жуковского в русской жизни и поэзии») (М., 1853) и его же «Воспоминания о Жуковском» (Москвитянин, 1852, № 18) содержали некоторые ошибки и противоречия, указанные А. Д. Галаховым в статье «Ответ на статью г-на П. Б. «Еще несколько слов о В. А. Жуковском» (*МВед.*, 1853, № 33, 17 марта, с. 341). Однако тот же Галахов утверждал, что работы Шевырева и П. А. Плетнева – «самые достоверные источники биографии» Жуковского.

[^^^]

Речь Шевырева «Об отношении семейного воспитания к государственному» (М., 1842) была осмеяна в «Отечественных записках» (1842, № 9, отд. VI, с. 5–7, рецензия П. Н. Кудрявцева) как пример «многоглаголанья» и отсутствия логики.

[^^^]

Намек на эпизод 14 января 1857 г., когда в заседании совета Московского художественного общества англоман В. Л. Бобринский обрушился на некоторые русские порядки, а Шевырев усмотрел в этом проявление антипатриотизма. Спор закончился дракой, за что Шевырев был уволен в отставку и выслан из Москвы. См. об этом запись в дневнике Добролюбова от 23 января 1857 г. (VIII, 541).

[^^^]

История русской словесности, преимущественно древней, т. I, ч. 1. М., 1840 (в том же году – т. I, ч. 2).

[^^^]

Слова из произведения А. И. Герцена «Ум хорошо, а два лучше», написанного в 1843 г., но впервые появившегося в печати в «Былом и думах» (Лондон, 1862). Добролюбов был знаком с ним по одному из рукописных списков.

[^^^]

Хотя Шевырев и объявил Германию «родиной всего отвлеченного» (История русской словесности, т. I, ч. 1, с. 15), влияние немецкой филологической школы сказалось и на его трудах. Ф. И. Буслаев был более последовательным сторонником «германской филологии». Однако и тот и другой ученый своими исследованиями способствовали созданию в России культурно-исторической школы.

[^^^]

Добролюбов в этом случае не совсем прав. При всех расхождениях с Шевыревым как Ф. И. Буслаев, так и более «молодые исследователи» древнерусской литературы Л. Н. Пыпин, Н. С. Тихонравов (действительно ученик Шевырева) признавали положительное значение «Истории русской словесности».

[^^^]

Этот «промах» Шевырева еще до Добролюбова подробно рассмотрел в своей рецензии А. А. Котляревский (ОЗ, 1859, № 1).

[^^^]

Чичиков в «Мертвых душах».

[^^^]

Оценку Добролюбовым этой книги см. в статье «Русская цивилизация, сочиненная г. Жеребцовым» (наст. изд., т. 1).

[^^^]

Среди источников своего исследования Шеллерман неоднократно называет «Историю русской церкви» Макария, епископа Винницкого (т. 1–3. СПб., 1857) и статьи других историков церкви – профессора А. В. Горского и Филарета, епископа Харьковского.

[^^^]

См.: наст. изд., т. 1, с. 622 и примеч. 35 на с. 843.

[^^^]

Имеются в виду статьи А. Н. Афанасьева «Зоморфические божества у славян: птица, конь, корова, змея и волк» (*ОЗ*, 1852, № 1–3), А. Н. Егунова «Взгляд на торговлю древнейшей Руси» (*Совр.*, 1848, № 8–10) и И. Е. Забелина «О металлическом производстве в России до конца XVII века» (*Записки имп. Археологического общества*, 1853, т. 5).

[^^^]

Добролюбов имеет в виду статьи «Русская земля перед прибытием Рюрика в Новгород» (Временник Московского общества истории и древностей российских, 1850, кн. 8) и «Князь Рюрик с братьями и дружиной» (там же, 1852, кн. 14). Ирония Добролюбова вызвана тем, что еще совсем недавно И. Д. Беляев уличался коллегами в научной недобросовестности и субъективизме (см. примеч. 135 на с. 740).

[^^^]

Замечание критика не вполне справедливо, так как указанные им «герои отечества» (таково название главы в книге Шевырева), в основном князья XIII в., являлись одновременно героями летописных сказаний и житийной литературы. Особенно выдающимся литературным памятником является «Повесть о Петре и Февронии»; известны также жития Александра Невского и Михаила Черниговского. Народное сказание о храбром защитнике Смоленска Меркурии вошло в ряд памятников древнерусской литературы. В так называемой Галицко-Волынской летописи наибольшее внимание уделено волынскому князю Владимиру Васильковичу. Добролюбов прав лишь в том отношении, что Шевырев склонен пересказывать деяния героев, как правило упуская из виду литературный аспект исследования.

[^^^]

Квинтилиан – древнеримский теоретик ораторского искусства.

[^^^]

Симон и Поликарп – создатели так называемого «Киево-Печерского патерика», сборника житийных сказаний XIII в. «Слова» Серапиона Владимирского относятся к наиболее значительным памятникам древнерусской литературы.

[^^^]

О незаурядной проповеднической деятельности Авраамия рассказывает памятник середины XIII в. «Житие Авраамия Смоленского».

[^^^]

Речь идет о святителях XIII в., соответственно о Кирилле II, митрополите Киевском, сыгравшем значительную роль в создании таких памятников древней письменности, как «Летописец Даниила Галицкого» и «Житие Александра Невского»; о Ростовском епископе Кирилле, которому приписывали «Поучение к попам», и о Кирилле I, митрополите Киевском, которому приписывалось «Поучение крестьянам» (см.: Москвитянин, 1851, № 6).

[^^^]

Жития Стефана Пермского и Сергия Радонежского, написанные Епифанием Премудрым на рубеже XIV–XV вв., относятся к образцам агиографического жанра. Этот литературный аспект ускользнул от внимания Шевырева, и здесь критика Добролюбова была справедливой. Однако Добролюбов не вполне прав, иронизируя над определением XIV в. как «по преимуществу века Сергия». Шевырев в целом верно оценил деятельность Сергия Радонежского, сыгравшего значительную роль в подъеме национального духа, освобождении Руси от татаро-монгольского ига.

[^^^]

Столь резкая и несправедливая оценка, в которой Добролюбов следовал ошибочному взгляду Белинского (см. статью «Древние российские стихотворения...» – Белинский, V, 349), была вызвана христиански-благочестивым тоном «Сказания о Мамаевом побоище».

[^^^]

Имеется в виду свойственная Шевыреву недооценка народного творчества.

[^^^]

Добролюбов имеет в виду следующее место из книги, где Шевырев пересказывает одну из былин: «На бумажных крыльях подымается на воздух чародей Тугарин, но молитвой Алеши грозная туча подмочила ему бумажные крылья – и он упал». Далее в характеристике Алеши Поповича Добролюбов следует одно-сторонней трактовке этого былинного образа, данной Белинским в статье «Древние российские стихотворения...» (Белинский, V, 380).

[^^^]

Добролюбов имеет в виду следующее место из книги: «Эта истина (христианство. – В. В.) проходит через все века нашей древней и новой жизни и связует все слово наших проповедников одною невидимую связью в одно логическое целое» (с. 375).

[^^^]

Имеется в виду разбор Шевыревым «Послания» митрополита Никифора к Владимиру Мопомаху. По поводу слов Никифора о трех силах души – «словесное», «яростное» и «желанное» (Шевырев интерпретировал их как разум, деятельность и творчество) – исследователь утверждал, что «здесь явен первоначальный источник мысли, перешедшей в немецкую философию» (История русской словесности..., ч. 2. М., 1846, с. 205).

[^^^]

См. выше примеч. 20.

[^^^]